ВЕЖЛИВЫЙ ГЕРОЙ

НОМИНАНТ ПРЕМИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»

АЛЕКСЕЙ КОЛОБРОДОВ

ПЯТЫЙ РИМ

АЛЕКСЕЙ КОЛОБРОДОВ

ВЕЖЛИВЫЙ ГЕРОЙ

ПЯТЫЙ РИМ
МОСКВА
2018

УДК 821.161.1
ББК 84(4Рос=Рус)
К 61

Автор обложки М. Пономарева

Колобродов А.Ю.
К 61 Вежливый герой. — М.: Издательство «Пятый Рим» (ООО «Бестселлер»), 2018. — С. 480.

ISBN 978-5-9908267-7-9

«Вежливый герой» Алексея Колобродова — книга-исследование, книга-размышление о современности, десятых годах двадцать первого века. Это десятилетие еще назовут контрапунктом российской, да и мировой истории — многоуровневой цивилизационной развязкой. «Вежливый герой» — попытка не осмыслить прошлое и не угадать будущее, но объяснить живое, пульсирующее настоящее. Основной сюжет книги — возвращение России на столбовую дорогу мировой истории, процесс, который был запущен, с одной стороны — событиями «болотных сезонов» в Москве, Майдана в Киеве, «русской весны» в Крыму и на Донбассе.

УДК 821.161.1
ББК 84(4Рос=Рус)

© Колобродов А.Ю., 2018
© Издательство «Пятый Рим»™, 2018
© ООО «Бестселлер», 2018

ISBN 978-5-9908267-7-9

ОТ АВТОРА

Книга, которую вы открыли, нуждается в авторском навигаторе. Да, я знаю все приличествующие случаю снобистские афоризмы, и особенно мне нравится приписываемый Анне Ахматовой: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». Надо.

1

Много лет меня по-настоящему интересуют два явления: язык и власть. Политика как способ обретения и осуществления власти и литература как главная форма языковой коммуникации. Сюжеты власти определяются образами литературы; взаимовлияние бесспорно. Однако осуществляется оно в логике стихийной, но строгой: «прилив — отлив». История, особенно российская, знает периоды как вялотекущего взаимодействия, так и время необычной его интенсивности.

Чтобы не ходить далеко, вспомним, насколько в нулевые годы власть и культура жили, не подозревая о существовании друг друга (первая не подозревала честно, вторая придуривалась, и культуре за такой артистизм, точнее, аутизм, кажется, неплохо приплачивали). Власть не нуждалась, по сути, не только в государственных, но и в языковых границах —

официоз легко перемещался в гламур и обратно. Положение не столько обязывало, сколько всех устраивало, кроме кучки бунтарей, на которых смотрели — в лучшем случае — с проблеском лабораторного интереса, но вообще-то — с насмешливой и неискренней жалостью.

И тут неожиданно, как всегда, наступили десятые, и мир вдруг обнаружил, что конец истории, который на исходе «холодной войны» объявил философ Френсис Фукуяма, считавшийся ведущимся интеллектуалом и пророком Запада, всё никак не наступает.

Ну ладно Россия, с ней давно всё прогрессивным людям ясно: у нас либеральная интеллигенция хороша, а народ плох, поэтому неизбежно выбирает себе, а потом воспроизводит власть вороватую, недалекую, со спецслужбистским бэкграундом и неизжитыми имперскими комплексами.

Но оказалось, и в Европе всё не так, ребята: не успели объединиться в Евросоюз (какой из рейхов мне этот проект напоминает?), как случился какой-то Brexit, недобитые национализмы зашевелились, растет популярность Марин Ле Пен… Да и сама Америка — ты одурела! — выбрала вопиюще несистемного и нелиберального Дональда Трампа. Немедленно вступившего в конфликт со сложившейся в Штатах политической системой средствами солдата-славянина Швейка. «Что ж, повоюем!» — экспансия абсурда, презентация боевого искусства идиотизма. К чему это приведет — непредсказуемо, но уже сегодня очевидно, что прежняя уютная однополярность сама себе и «Титаник», и айсберг.

В России десятилетие начиналось интригующе. Интеллигенция решила, как иногда у нее и прежде водилось, за-

бунтовать, тем паче и междуцарствие (скорее формальное, нежели реальное) подоспело. По этому поводу она вновь зауважала бунтарей, по обыкновению их предав, но не перестав уважать, пока не обнаружила, что бунтари вовсе не собираются менять власть, но хотели бы ее направлять и программировать.

Тем более наметилось встречное движение.

Его импульсом стала Болотная, а ускорил Майдан — российская власть не столько испугалась, сколько протрезвилась — рассеивался нефтяной морок, разрушались прозападные иллюзии и ориентиры. Обнаружилась пугающая экзистенциальная нагота — отсутствие почвы, дефицит идей и нищета языка. Как говорить с чужими, было более-менее ясно, а вот о чем со своими… Стала необходимостью мобилизация тех, кто, быть может, против власти, но всегда за государство и нацию.

Когда власть, пусть из соображений собственной безопасности и сохранения статус-кво, встает за правое дело или, как минимум, старается ему не мешать, умеряет аппетиты, сближается с интеллектуалами-государственниками, учится отделять литературу от пиара — у народа возникает надежда. На сильную и справедливую страну. Пробуждается уважение к себе. Обостряется «Любовь к родному пепелищу,/ Любовь к отеческим гробам».

Собственно, вот этому мучительному для обеих сторон — власть и государственники-интеллектуалы, полному противоречий, «взаимных болей, бед и обид», трудному сближению и посвящено большинство очерков, составивших эту книгу. Мне казалось принципиальным обозначить эволюцию взаимовлияния — от традиционного «Поэт и Царь» со всеми его обертонами до недоверчивого вынужденного

сотрудничества по выработке нового языка имперской коммуникации.

Велосипедов я не изобрел, мои очерки — попытка оценить актуальную политику через образы и сюжеты литературы (и отчасти — других искусств). Протестировать современность посредством не исторических аналогий, но накопленного русской культурой опыта.

Разве что иллюстративный материал я постарался подобрать относительно новый.

2

Книга портретирует пять интегральных фигур (персонажей намного больше), в которых ярче всего преломилось выбравшее нас время. Все ныне живущие и активно деятельные — дай Господь им здоровья и сил. Статус каждого трудно определить одним словом, а, пожалуй, и фразой.

Поэтому просто имена, через запятую. Владимир Путин, Эдуард Лимонов, Захар Прилепин, Михаил Ходорковский, Никита Михалков.

Владимир Путин, вольно или невольно, в 2014 году вернул Россию на столбовую дорогу национального бытия, в присущее только ей русло цивилизационного творчества, в твердые координаты историзма.

«Империя на подъеме» — обозначил этот процесс философ Александр Секацкий.

Этот фундаментальный поворот, ключевой момент выхода из безвременья девяностых-нулевых, исследователям предстоит проанализировать подробно и академически, но уже сейчас впотьмах и наощупь осмысливает искусство. Если понимать под искусством не только традиционные формы, но и модели актуального самовыражения — сетевая публицистика, рэп, те сюжеты, которые рождаются на стыке вновь обострившегося противостояния государственников и либералов.

В работе, которую вы держите в руках, нет претензии на очередное жизнеописание Владимира Владимировича (собственно, таковых по серьезному счету и нет и в ближайшее время едва ли появятся). Я, куда без этого, затронул некоторые биографические сюжеты, вокруг которых в отчетные годы кипели страсти и мордасти, но куда принципиальнее была другая задача — представить Путина субъектом творчества, своеобразным соавтором эпохи.

…Наличие Императора предполагает также заполнение вакансии старца и пророка. Эдуард Лимонов говорил в 1991 году, двадцать шесть лет назад (и годы эти, как бакинские комиссары, смотрят на нас с укором):

«Набухает национальной ненавистью самая опасная из республиканских буржуазий — украинская. Она, так же как и буржуазии кавказские и прибалтийские, не способна заменить политику экономикой, и потому идет неизбежно по тому же пути: экзальтируются опасные традиции (вызываются тени господ Винниченко, Петлюры, Бандеры, «украинской освободительной армии», закрываются русские школы и пр.). По завету Адольфа Гитлера будет рано или поздно открыто атакован физически хорошо «видимый враг», живущий рядом «москаль», — враг одновременно внешний и внутренний. Так как на Украине проживает, если

не ошибаюсь, девять миллионов русских и, наверное, столько же полукровок, то украинская независимость обещает быть куда более кровавой, чем хорватская…»

«Разумеется, национализмы в «республиках» с несколькими миллионами населения не могут быть так опасны, как национализмы больших народов. Украинский национализм, по всей вероятности, разбудит, разозлив его, мощный русский национализм, «включит» его».

«Однако есть в каждой республике группа населения, бесспорно профитировавшая от национализма. Это буржуазный класс, его наиболее энергичная часть. Подавленные при Советской власти национальные буржуазии, свергнув бюрократов-профессионалов, захватили политическую власть. Их существование кардинальным образом изменилось. Сонное прозябание сменилось активной жизнью. Политическими деятелями внезапно сделались бывшие профессора, музыканты, плейбои, шахматисты, кинематографисты, журналисты, писатели. (Непрофессионалы всегда опасны… Но это к слову.) Застольные тамады, торговцы апельсинами, артисты филармоний и парикмахеры сделались национальными гвардейцами и разгуливают в хаки-формах. К ним можно прибавить национальные интеллигенции в полном составе, получившие возможность участвовать в обсуждении национальной жизни в прессе, на радио и телевидении. Жизнь этих людей возбудительна. Они «гуляют» в полном смысле этого слова. Сколько таких людей, чрезвычайно удовлетворенных национализмами, в каждой «республике»? Очевидно, десяток тысяч. Основное же население — невольные участники, втянутые в водоворот чужих страстей».

(«Преступная идеология»,
книга «Исчезновение варваров»).

Старец Эдуард Вениаминович, конечно, тот еще, внешне он сейчас больше напоминает не протопопа Аввакума, а вздорного кунг-фу-коуча Пэй Мэя из тарантиновского «Убить Билла» (тоже, знаете, своеобразная аллюзия на отношения России и Запада). Но сейчас власти и обществу такой образ, пожалуй, понятнее.

…Захар Прилепин построил для себя это десятилетие в соответствии с названием последней (великолепной) книги прозы — «Семь жизней». И с трагической честностью, стараясь ничего не упустить, живет все семь. Он ушел путем Воина, стал философом и мистиком: отпустил всё свое (биографию, опыт, быт, само по себе «Я») попастись на вольных хлебах бытия, «на пыльных перекрестках мироздания», прошвырнуться на край ночи. В донбасских пороховых степях он нашел подходящий русской современности идеал, «вспомнить всё» — Золотой век империи и литературы, с его героями и шедеврами, вольностью и патриотизмом, и русский мир качнулся навстречу, преодолевая амнезию.

…У Михаила Ходорковского случился путь в другом направлении, из трагедии в фарс. Графа Монте-Кристо из него не вышло, но не получилось также встать в ряд Курбский — Герцен — Троцкий, а не повторить совсем недавнего коллегу Березовского хватило вкуса. Михаил Борисович, впрочем, придумал себе интересный формат — он стал позиционировать себя хорошим боярином при плохом царе. Которого наказали и изгнали не за царские амбиции, а именно за «доброту» — эффективность и успешность. Экзотический набор, надо сказать, — дикий капитализм с человеческим лицом, хищничество «не мы такие, жизнь такая», чудовищная, но вполне законная приватизация…

…Если Ходорковский — заложник своего времени и класса, то Никита Сергеевич Михалков интересен опытом преодоления — и времени, и сложившегося образа. Федор Степун интересно сказал об Андрее Белом: «Он был существом, обменявшем корни на крылья». Собственно, Никита Сергеевич предпочел обратное — крылья («творчество» и его свободу) он сменял на корни (государство, идею сословной монархии, пресловутые скрепы). Однако процесс exchange не вышел окончательным: наш герой топчется в операционном зале биржи идей, следит за котировками и курсами и, захваченный сим нелегким делом, теряет ряд важных смыслов, да и за изменениями биржевой конъюнктуры, как и положено, не поспевает.

В этой пятифигурной конструкции я попытался угадать не фаворита эпохи, но главное ее достижение — вновь обретенную нами цветущую сложность.

3

Помню, как расстраивали меня на момент написания этой книги интеллигентские кухонно/сетевые разговоры. Мне казалось, будто кто-то наверху крепко заинтересован в том, чтобы воспалительные процессы в обществе продолжались и набирали новые градусы. И при этом были инфантильны и неопасны — вроде боя подушками.

В новогодние каникулы скандализирующих поводов образовалось два — премьера российского киноблокбастера «Викинг» и праздничное ТВ с бывшей певицей Аллой Борисовной

Пугачевой на первом плане и канале. Кстати, оба повода объединяла еще и разнообразная фигура главного телевизионного технолога и босса страны — Константина Эрнста. Возможно, «кто-то наверху» — это Константин Львович и есть, но нас сейчас не конспирология интересует.

Эти кейсы убедительно демонстрируют, что социум не только чрезвычайно невротизирован, но и заблудился во времени, не слишком осознавая, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе» и по сколько нам лет.

Случись «Викинг», скажем, в позднесоветское время — его никто бы не заметил (да что там «Викинг» — тогда народ и августовского путча 1991 года не заметил, равно как, по советской инерции, — распада великой державы). Исключением стали бы, конечно, маленькие советские граждане мужского пола — отечественные патриотические боевики, чистейшая и высшая мальчишеская радость, были в жесточайшем дефиците. Вообще, лучшей рецензией на «Викинга» были бы непосредственные реакции мальчишки, жестами показавшего бы махи мечами, кат огненного колеса и тройное погружение при крещении. И христианский пафос фильма дети бы усвоили прекрасно, и не искали бы исторической правды, не мерились бы летописями, чья древнее.

Однако сейчас, после целого корпуса лент, сделанных в миксе «фэнтези + темные века + Шекспир в гламуре», после двух трилогий Питера Джексона, игр престолов и одноименного канадо-ирландского сериала «Викинги», думаю нет смысла смотреть не на календарь, не на возраст. Да, мы показали, что тоже умеем. Готовы собрать 7-й пресловутый айфон, но по цене целой прекрасно оборудованной лаборатории. Впрочем, есть и небольшое русское ноу-хау — вселенские

грязи и гламурные физиономии, будучи помещены в один кадр, взаимно уничтожаются.

Больше, на самом деле, говорить особо нечего, самое загадочное в «Викинге» — как раз источник возбуждения столь свирепых страстей. Ну, яркое и смотрибельное кино. Не талантливое, нет, просто мастеровитое и профессиональное, однако для кино как индустрии данные качества важнее гения. С легко считывающимся месседжем — настоящим Царем земным можно стать, только признав настоящего Царя небесного, а до этого ты — пахан шайки наемников, разбойников и беспредельщиков, поклоняющихся дремучим кровавым культам. Надо сказать, что и этот нехитрый тезис зритель конструирует в голове несколько натужно, поскольку Козловский великие мировоззренческие переломы сыграть не в состоянии.

Теперь относительно Аллы Борисовны, которую объявили ответственной за весь новогодний телеэфир. Возможно, это и справедливо, но тоже выглядит некоторым анахронизмом — мы встречаем 2017-й, Алла же Борисовна явно, как говорил Паниковский, «человек из раньшего времени».

Вот там она бывала «нашим всем»: даже в позднесоветском фольклоре, недобром и циничном, Пугачевой отводился статус выше королевского — над властителями.

«Л.И. Брежнев — мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой».

«Что ж ты, Алла, не поешь?
Отвечает Пугачева:
Насухую вам споет
Рая Горбачева» —

частушка времен горбачево-лигаческого полусухого закона.

Даже Пелевин в первом романе вампирской саги, исхлестав гламурные нулевые, вывел АБП в образе Иштар Борисовны — царицы сверхсуществ, со всеми признаками уходящего, постыдного, но — Величия.

И конечно, голубой, во всех смыслах, огонек — лишь повод (не думаю, чтобы он сильно отличался от эфиров 2016, 2015 гг. и далее везде). И обличения Пугачевой, и защита ее восходят, по сути, к одной эмоции. Люди не то чтобы пытаются отнять у Примадонны право на старость — увы, кичливую, глупую и предельно пошлую, они пытаются спасти честное имя собственного прошлого, солидный кусок которого (полвека, а?) прошел вместе с Пугачевой.

Еще один недавний скандал и его фигурант — «художник» Павленский. Пока он вел себя как лагерное отрицалово, копировал стиль приличного урки времен «сучьей войны» (зашитый рот; яйца, прибитые к нарам, пардон, к брусчатке; «раб МВД», на лбу наколотое — а, это он не успел?) — считался актуальным художником, акционистом (хотя экшн, говорю, восходит к протестным, реально протестным акциям шестидесяти-, семидесятилетней давности), а главное — уважали его.

А как пошла мелкая хулиганка, подъездное гопничество, противненькое безумие дворового малолетки — и свои отвернулись.

То есть дело не в уголовщине, а в ее градациях. Де-градациях. Тут вопрос к прогрессивной общественности, поднимавшей Павленского как знамя «борьбы с режимом». Но ведь Павленский — один и тот же, и деятельность его растет

из того же общего корня советской архаики — знакомые до тошноты образы, обрыдлый антураж, и садомазохизм такой же — тоскливый и привычный, как повторяющийся детский кошмар.

Я совершенно ничего не имею против советского прошлого, но ведь в нем масса куда более достойных, чем Алла Борисовна, поводов для ностальгии.

Я бы совершенно ничего не имел против невротизации общества, если бы на аналогичном «Викингу» градусе обсуждали великолепные историко-метафизические романы Алексея Иванова «Тобол» и Михаила Гиголавшвили «Тайный год».

И вообще, лучше приветствовать уголовника, который хочет сделаться художником, а не наоборот. Надо взрослеть, а не впадать в детство, пусть даже советское, лучшее на свете. Да и ругаться пора уже о серьезных вещах.

Собственно, вся эта книжка — попытка повысить уровень дискуссии за счет сюжетов и персонажей, как мне кажется, куда более значительных. Масштаб способен исцелить невроз. Мир перед нами значительно укрупнился, и мне хочется, чтобы это заметили.

Остальное — в текстах.

I

Поэт и царь: точная наука о дистанциях

Один из национальных парадоксов заключается в том, что история литературы куда более точная наука, чем собственно история страны и ее государств.

Парадокс два: казалось бы, ключевая для очерков, составивших эту книгу, тема «поэт и царь», «художник и власть» etc. в российской традиции исследована и каталогизирована вдоль и поперек. Всё, что нам здесь остается, — дать краткий монтаж цитат, соответствующий заявленной концепции, развернуть в 3D походный иконостас из имен и подвигов.

Но — привычно уже — выясняется даже не отсутствие целостной картины, пусть и с взаимно замутнившими восприятие интерпретациями советских/антисоветских и постсоветских авторов. Нет, увы, даже общего эскиза; элементы мозаики разбросаны по углам разных идеологических кабинетов.

Не претендуя на сдвиг тяги земной в данной области знания, рискну всё же построить такой эскиз — фрагментарный и весьма субъективный, как и вся моя книжка.

Кумовство Аввакума

Интересует нас не хроника, но феноменология, поэтому имеет смысл начать с протопопа Аввакума, которого принято, наряду с Александром Пушкиным, считать основоположником современного русского литературного языка. Это и так, и не так — безусловно, сочинения невероятно

одаренного в слове протопопа и сейчас звучат как весьма актуальные (и даже сверх того — Аввакум предвосхитил ту грамматическую выразительность, которая ныне характеризует продвинутое интернет-общение: «чюдо», «вотка» и пр.). Кроме того, сам образ мятежного публициста, сотрясающего престолы, праведника и страдальца, оказался весьма востребован русской литературой в зрелом ее возрасте и писательском обиходе — правда, и тут возникали подмены и двусмысленности. Так, А. И. Солженицын, безусловно, делал если не всю свою разнообразную жизнь, но какие-то ее узлы и линии с Аввакума («Бодался теленок с дубом» — яркое и саморазблачительное тому свидетельство), но биографически повторил скорее путь патриарха Никона — лютого аввакумова оппонента. В литературном же смысле получалось у него развивать несколько иной вид национальной словесности — демарши и плачи народнических публицистов. (Важное исключение — повесть «Один день Ивана Денисовича», в котором звучат мотивы и настроение аввакумова «Жития»).

Это касаемо общего рисунка, а в личностном разрезе имеется куда более принципиальное отличие. Современная исследовательница раскола С. Глинчикова пишет: «*Если кто-то и относился в ту эпоху с уважением к человеческой жизни и убеждениям личности, то это как раз и был Аввакум. А ведь для фанатика человеческая жизнь — ничто по сравнению с его идеями. Аввакум был религиозным человеком, страстным спорщиком, но в нем было слишком много любви и уважения к человеческому достоинству, чтобы быть фанатиком. Гневные высказывания, угрозы и пожелания, срывавшиеся время от времени с его уст по адресу его идеологических противников, не могут перечеркнуть ни общей гуманистической сущности его учения, ни реального опыта его жизни*».

Это весьма тонкое и важное замечание о личности старообрядческого вождя явно противоречит стратегии и практике солженицынских «боданий»…

Следует также отметить, что в отличие от ровного излучения «солнца русской поэзии», влияние Аввакума в национальной словесности было дискретным, осуществлялось импульсивно. Литераторы открыли для себя сочинения протопопа (с подачи славянофилов и прежде всего «Житие») во второй половине XIX века; рецензиями, часто восторженными, отметилась практически вся первая сборная (Тургенев, Лев Толстой, Чернышевский, Достоевский). Однако, за принципиальным исключением Николая Лескова, уроки Аввакума оставались невостребованными вплоть до Серебряного века — с сопутствующим погружением не столько в русские древности, сколько в заповедное и «заветное» (Третий Завет, чаемый хлыстовствующей интеллигенцией). С «народной верой» и сектантством, Мережковским и Розановым, Горьким и Леонидом Андреевым — язык, ландшафт и эмоции «Жития» формировали не словесность, а целую эпоху.

Литература советских 20-х, с ее парадоксальным миксом революционного авангарда и стилистическими поисками в архаичных языковых слоях и фольклоре, в самых заметных своих образцах вышла из скуфейки Аввакума. Сказовая манера, особая индивидуальная оптика, страстное взыскание недостижимого идеала, сатира не как социальный инструмент, но как способ понимания мира. Очевидный набор имен — Михаил Зощенко и «серапионы», Леонид Леонов, ранний Константин Федин, Алексей Н. Толстой и пр.

Интересно, что лучшие образцы прозы советских 20-х оказались чрезвычайно востребованными через век без малого, преимущественно в группе молодых на тот момент

(нулевые — рубеж десятых) писателей, несколько произвольно объединенных лабораторным определением «новые реалисты». Идейная и стилистическая близость, искренний и глубокий интерес к перечисленным авторам «аввакумова корня» из советских 20-х… «Обитель» и публицистика Захара Прилепина, публицистика же, с едва заметным креном в юродство, Германа Садулаева; «Библиотекарь» и Pasternak Михаила Елизарова, да и в прозе Сергея Шаргунова по временам явственно звучит гулкий расколоучительский глагол, пусть и пропущенный через мовистские примочки.

Эдуард Лимонов: «Я просто стал каким-то протопопом Аввакумом».

Более того, в духовном отце и нередко примере литературного подражания для «новых реалистов» Эдуарде Лимонове видят подчас самую убедительную аввакумовскую инкарнацию. Начинающим, после полноценной поэтической биографии, прозаиком его сравнивали с Генри Миллером и Чарлзом Буковски. Теперь, по совокупности заслуг, все чаще соединяют лобачевской параллелью с Аввакумом Петровичем. Это даже не эволюция, но революция. И едва ли консервативная, в которую он, с уходом Дугина из НБП, сразу бросил играть.

Вся лимоновская литература — он сам; начиная с тюремных вещей, она становится житийной. И проповеднической. Жития и проповеди — тот чуть ли не единственный вид литературы, который не рецензируются. Их можно принимать — в качестве лекала «делать жизнь с кого». Можно воспринимать — историко-литературным памятником. Либо отвергать с порога.

Сопоставление стало магистральным на фоне лимоновского суда и приговора.

Филолог и религиовед Михаил Дзюбенко отмечал: «*Кажется, первый, кому это пришло в голову, — писатель Сергей Шаргунов, в каком-то смысле литературный ученик Лимонова. Статью «Стать пеплом» с подзаголовком «Родина: От Аввакума до Эдуарда» (НГ, 2003–04–24) он написал под свежим впечатлением от суда над Лимоновым:*

«В этот весенний день, только не в нынешнем, а в 1682 году в Пустозерском остроге (ныне Архангельская обл.) в земляном срубе сожгли протопопа Аввакума и других вождей старообрядчества.

Странная страна Россия, где всегда будут сочетаться пылкие бунтари и охранительные оболтусы. Всегда будет бытоулучшительная партия и партия войны, партия скуки и партия песни.

Отправляясь в Саратов (на суд к Лимонову), я взял с собой Аввакумово «Житие». Со мной в купе ехал мужичонка и, сально хмыкая, читал книжку про Остапа Бендера. Потом появился алкоголь. Наконец допились до того, что он извлек пресловутое удостоверение и стал проповедовать: «Мы вас пасем. Мало ли набедокурите! Главное, чтобы в норме все было…»

«Собственно, национал-большевизм, — пишет далее Шаргунов, — это то же двоеперстие, та же апелляция к проигравшей схеме… (…) Сожжение Аввакума не сопровождалось скандированием лозунгов, он сгорел мирно, на излете сил.

…Приговор чудовищный. Но Эдуард за время отсидки, кажется, стал столь дезориентирован и надмирен, что уже не возмутился. Мы не услышали: «Мне нужна только свобода. Ура борьбе!» Как юродивый, он что-то наборматывал в бороду, озаренный фаворским светом. А волосы у него были спутаны в монашескую косичку.

Ни позы, ни самовлюбленности. Эстетство и политиканство куда-то отпали.
Уже не человек. Седой пепел.

Другая Россия за пределами этого мира…»

Далее Дзюбенко цитирует Николая Работнова:

«Лимонов — человек очень русский, так что за сравнениями не следует лезть в европейский карман. Хочу — всерьез — сравнить его с Аввакумом Петровичем, самым первым писателем земли Русской, который вошел в историю как «протопоп», хотя пробыл таковым всего восемь недель, и обосновать это сравнение, начав с того, что может показаться второстепенным, но на самом деле является фундаментом достигнутого в обоих случаях — с необыкновенной крепости духа и ***тела*** *(подчеркнуто недаром) этих двух мужчин. Злоключения и муки Аввакума, закончившиеся после пятнадцати лет подземной тюрьмы сожжением в белозерском <пустозерском> срубе, несравнимы, конечно, с лимоновскими, но сорок лет алкогольных, наркотических и прочих, мягко говоря, излишеств, а также связанных с ними жизненных перипетий, очень выразительно и, похоже, правдиво описанных Лимоновым в том, что можно назвать его «Житием», должны были разрушить любое здоровье, кроме железобетонного, — что и произошло со многими современниками, попавшими в «Книгу мертвых», — и сломить любой дух,*

кроме неистово бунтарского и маниакально целеустремленного… И, увы, не исключено, что настоящие жизненные испытания для него только начинаются, и последние главы «Жития» будут самыми — дай Бог не по-аввакумовски — мрачными».
(«Колдун Ерофей и перероcток Савенко: Из дневника читателя»).

В послетюремные годы, на фоне последующих лимоновских политических и житейских метаморфоз, новых — в обоих известных смыслах этого слова — романов, параллель с Аввакумом как-то поистратилась и рассеялась. Хотя в «проповедях» Эдуарда Вениаминовича сходство интонаций многократно усилилось, а сатира, при всей сиюминутности поводов, явственно обретает метафизические обертоны — насмешки (беззубый рот, кипящая слюна) бодрого старца над нелепым устройством мира.

Любопытнее, впрочем, другое. Нравы за триста лет с солидным довеском явно смягчились даже в России — к рекомендациям пророка Эдуарда с его НБП-двоеперстием, власти нет-нет да и прислушиваются; «делают жизнь», не обозначая примера и авторства. Но об этом поговорим в своем месте.

* * *

…Впрочем, и здесь нас подстерегает очередной парадокс, напрямую связанный с магистральной темой — литератор Аввакум Петрович Кондратьев живее всех живых, а вот один из основных мотивов его наследия — диалог поэта (Аввакума) с царем (Алексеем Михайловичем) — по-прежнему явление в русской литературе беспрецедентное. Модель отношений, заданная протопопом, оказалась неповторимой и невостребованной. Естественно, в силу внелитературных обстоятельств.

Аввакум в своих сочинениях регулярно обращается к фигуре царя, напрямую и косвенно, с помощью разных жанров и ораторских приемов. Отношение его, по мере разворачивания церковной реформы и ужесточения репрессий против сторонников старой веры, разумеется, меняется. («Безумный царишко!» — позднейшее речение Аввакума). Неизменной — и это поразительно — остается дистанция между бунтующим пророком и монархом, утверждающим абсолютизм. Она, на сегодняшний вкус, удивительно коротка. «Милай» или даже «миленькой», «касатик», «горюн» — так называет Аввакум второго Романова, чье обрядовое богоподобие, скопированное у византийских императоров и призванное прикрыть худородство (да и узурпаторство, чего там) царей новой династии, массово отмечалось современниками, преимущественно «иноземцами». *(«И я, сопротив, руку ево поцеловал и пожал, а сам говорю: «Жив Господь, и душа жива моя, царь-государь; а впредь что изволит Бог!» Он же, миленькой, вздохнул, да и пошел, куды надобе ему»* — а ведь здесь Аввакум уже много лет упорный диссидент, только что возвращенный из тяжелейшей долгой ссылки в Сибирь и Даурию).

Впрочем, на прямое обличение не решается и Аввакум (и дело тут, конечно, не в личной робости). Алексея Михайловича он вполне прозрачно выводит под именем гонителя христиан царя Максимилиана:

«*Никола Чюдотворец и лутче меня, со крестьяны сидел пять лет в темнице от Максимияна-мучителя. Да то горькое время пережили, миленькие, а ныне радуются радостию неизглаголанною и прославленною со Христом. А мучитель ревет в жупеле огня. На-вось тебе столовые, долгие и безконечные пироги, и меды сладкие, и водка процеженая, с зеле-*

ным вином! А есть ли под тобою, Максимиян, перина пуховая и возглавие? И евнухи опахивают твое здоровье, чтобы мухи не кусали великаго государя? А как там срать тово ходишь, спальники-робята подтирают ли гузно то у тебя в жупеле том огненном? Сказал мне дух святый, нет-де там уж у вас робят тех, все здесь остались, да уж-де ты и не серешь кушенья тово, намале самого кушают черви, великого государя. Бедной, бедной, безумное царишко! Что ты над собою сделал! Ну, где ныне светлоблещающиися ризы и уряжение коней? Где златоверхие полаты? Где строение сел любимых? Где сады и преграды? Где багряноносная порфира и венец царской, бисером и камением драгим устроен? Где жезл и меч, им же содержал царствия державу? Где светлообразныя рынды, яко ангели, пред тобою оруженосны попорхивали в блещащихся ризах? Где вся затеи и заводы пустошнаго сего века, о них же упражнялся невостягновенно, оставя бога и яко идолом бездушным служаше? Сего ради и сам отриновен еси от лица господня во ад кромешной. Ну, сквозь землю проподай, блядин сын! Полно християн тех мучить, давно тея ждет матица огня!»

Отметим: это, выражаясь современным языком, не частная переписка, а идеологические тексты, прямая политика: «*Воздохни-тко по старому*, — увещевает Аввакум царя, — *и рцы по русскому языку: «Господи, помилуй мя грешнаго!» А кирелеисон-от отставь; так елленя говорят; плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чево же нам хощется лучше тово? Разве языка ангельска? Да нет, ныне не дадут, до общего воскресенья*».

Естественно, Аввакум воспринимал царя и по-пастырски — как духовное чадо. *«Жаль нам твоея царския души и всего дому твоего, зело болезнуем о тебе, да пособить не можем ти, понеж сам ты пользы ко спасению своему не хощещь»*. (Забавно, кстати, что ублажаемые Алексеем Михайловичем греческие иерархи, среди которых было немало авантюристов вроде Арсения Грека или Паисия Лигарида, возвели царя в архиерейский статус, что называется, автоматом, якобы в соответствии с монаршьим достоинством).

Однако Аввакум был слишком человеком (выше я цитировал С. Глинчикову по схожему поводу), выдающимся социальным и национальным типом, чтобы выстраивать систему отношений, исходя из чисто религиозной практики. Его связь с царем ближе всего к ситуации соседства, давнего и тесного, на контекст которого не могут существенно влиять ни вспышки вражды, ни периоды дружбы. Отсюда это «Михайлович» деревенской улицы или советской коммуналки/курилки. Примета если не родства, то кумовства.

Кстати, в отношении первых лиц государства обращение по отчеству было возрождено, преимущественно для пропагандистских нужд, со смертью Ленина (впрочем, в узком партийном обиходе «Ильичом» его называли и при жизни) и учреждением культа вождя, важным элементом которого стала мифологема о «самом человечном человеке». Любопытно, что само обустройство раннего советского общества как своеобразного «социального улья» напоминало соборность в понимании Аввакума. Отмечу также: наследовавших Ленину вождей сугубо по отчеству именовали, главным образом, в юмористическом ключе — Л. Троцкий третировал Сталина как «неистового Виссарионыча». Хорош также поздний брежневский анекдот с презентацией генсека «зовите меня просто Ильичом».

Вернемся к Аввакуму. Увеличение дистанции между поэтом и царем до огромных размеров — в некотором смысле и есть путь, пройденный русской литературой за три века с половиной. Дальше бывало всё, что угодно, — от одических славословий и мифологических аллегорий до памфлетов, проклятий, зубоскальства, но общинной близости и духовного равенства уже не случалось никогда. Ни в парадных парсунах, ни в фольклорных байках, предвосхитивших современный «политический» анекдот.

Эпоха разворачивающегося абсолютизма (русский XVIII век) раздвигает не только дистанцию, но уничтожает саму возможность публичного диалога литератора с верховной властью, да и попросту возможность трезвого и заинтересованного взгляда в сторону венценосных особ. Тем не менее политическая сатира, гонимая в дверь, проникает через подклети и дымоходы. Низкий жанр возникает как пародия, обезьяна одических славословий и вырастает в серьезную альтернативу. Высмеиваются — не дай Господь! — не царственные и адресаты од и приближенные к ним небожители, но сам метод и принцип воспевания. Смеховая культура утверждает здравый смысл, возвращает эмоциональный баланс, уточняет историческую оптику.

Показательна фигура основоположника низкого жанра в русской литературной традиции — стихотворца Ивана Баркова. Иван Семенович — первый русский «культовый» в современном понимании автор, мифологизированный народным сознанием куда больше, чем все современные ему государи. И дело тут не в травестировании ломоносовской оды или драмы Сумарокова (как объект пародии, так и субъект немыслимы в сегодняшнем читательском обиходе). Не в срамной поэзии «Девичьей игрушки» и пр. (тоже, знаете, далеко не актуальное и захватывающее чтение), а в са-

мом образе «проклятого поэта», чье поэтическое бунтарство равно беспутному образу жизни и ее раннему и горькому финалу.

Любопытно, что традиция осмеивания первых лиц через невинную, на первый взгляд, жанровую пародию процветала и в следующем веке. Сергей Боровиков в своих мозаичных эссе, объединенных циклом «В русском жанре», делает неожиданное и тонкое литературоведческое открытие:

«Неужели никто из чеховедов не заметил, что речь чиновника Запойкина на панихиде (рассказ «Оратор») пародирует слово Феофана Прокоповича на погребение Петра?

Запойкин: «Верить ли глазам и слуху? Не страшный ли сон сей гроб, эти заплаканные лица, стоны и вопли? Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас! Тот, которого мы еще так недавно видели столь бодрым, столь юношески свежим и чистым, который так недавно на наших глазах, наподобие неутомимой пчелы, носил свой мед в общий улей государственного благоустройства, тот который… этот самый обратился теперь в прах, в вещественный мираж».

Прокопович: «Что се есть? До чего мы дожили, о россиане? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? О, как истинная печаль! О, как известное наше злоключение! Виновник бесчисленных благополучий наших и радостей, воскресивший аки от мертвых Россию и воздвигший в толикую силу и славу, или паче, рождший и воспитавший прямый сый отечествия своего отец, которому по его достоинству, добрии российстии сынове бессмертну быть желали, по летам же и состава крепости многолетно еще жить имущего вси надея-

лися, — противно и желанию и чаянию скончал жизнь и — о лютой нам язвы! — тогда жизнь скончал, когда по трудах, беспокойствах, печалех, бедствиях, по многих и многообразных смертех жить нечто начинал».

Пушкин: между узурпатором и самозванцем

Но, собственно, пора повернуться и к солнцу-Пушкину. Возможно, пушкинистами отмечена эта весьма любопытная у Александра Сергеевича парность, а может, и нет — законный царь у Пушкина идет рука об руку с самозванцем («законность», равно как и «самозванство», — всегда благодатная почва для нюансов с интерпретациями, но речь сейчас не о них). Драму «Борис Годунов» можно воспринять как напряженный диалог царя Бориса и претендента на престол Григория, коммуникацию узурпатора и самозванца, взаимодействие убийцы и призрака, принявшего плотский облик убитого отрока и пришедшего за ветхозаветным мщением…

Диалог продолжается, разрастается, приобретая метафизические свойства и обертоны. Общеизвестно, насколько Пушкина занимали личность и дела Петра Великого и как менялось отношение поэта к царю, который «Россию поднял на дыбы» (и на дыбу, увы). Начатый в 1827 году, задуманный как апологетический, роман «Арап Петра Великого» не был закончен. (Выскажу хулиганскую гипотезу о том, что его закончил Владимир Высоцкий двумя песнями, написанными для фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», — «Разбойничья» и «Купола». Песни в фильм Александра Митты не вошли, обе — признанные шедевры поэта Высоцкого. Переслушайте, перечитав «Арапа»).

Поэма «Полтава», написанная в 1828 году, апологетический гештальт Пушкина закрыла рифмованным парадоксом по адресу Петра «ужасен — прекрасен». Уже в «Медном всаднике» (Болдинская осень, 1833 г.), лично запрещенном императором Николаем Павловичем к печати, настроения, состояние, а главное — концепция поэта меняется: МВ — упакованный в форму готического романа «самосуд неожиданной зрелости», как выразился через эпохи другой поэт. Пушкин подвергает жесткой ревизии свое прежнее петрофильство: державно-апологетическая риторика остается на месте (давно ушедшие в обиходную речь праздничные мемы петровской эпохи «дум великих полн», «В Европу прорубить окно» etc.), однако меняется знак. Констатируется тот самый критический разбег аввакумовой дистанции, утвердившаяся навсегда враждебность двух миров — державного и частного, бытового мира «маленького человека» (решившегося, в случае пушкинского Евгения, на подвиг юродства). Бронзовый Петр предстает инфернальным символом государственности, кентавром власти не только над пространством, но и над временем. Эдакий предтеча Черного Властелина Саурона.

Еще интереснее, однако, другое. В те же свои тридцатые и тридцатые своего века Пушкин увлекается другой крупной фигурой — казака Емельяна Ивановича Пугачева, объявившего себя спасшимся государем Петром III и развязавшим масштабную войну против государства, имевшую многие признаки т. н. «консервативной революции», в том числе солидный старообрядческий бэкграунд.

Отметим некий параллелизм, зеркальность в работе Пушкина над образами Петра и Пугачева — две поэмы в первом случае, два законченных прозаических текста —

нон-фикшн «История Пугачева» (опубликована в 1834 г. как «История пугачевского бунта»; редактировал название сам император Николай Павлович, и так не желал Пугачева в качестве актора, творца истории, что разрешил «бунт») и повесть «Капитанская дочка» (опубликована в 1836 году) — во втором.

В обоих случаях очевидна ревизия авторской концепции, перемена знака: «История Пугачева» — исследование добросовестное, но сделанное во вполне официальном и даже отчасти пропагандистском ключе. «Капитанская дочка» — роман с сильнейшим мотивом «благородного разбойника», и виной тому, надо думать, не вальтер-скоттовская матрица, но собственные размышления Пушкина о природе власти и русского бунта.

Многие авторы вставали перед этим парадоксом: в «Истории Пугачева» Александр Сергеевич изобразил пугачевцев и вождя их настоящими зверьми (что, кстати, вполне согласуется с манифестами Емельяна Ивановича — написанными, надо сказать, близко к стилистике и орфографии современных воровских «маляв»: «И бутте подобными степным зверям»). И вообще пафос «ИП» — даже не лоялистский, но верноподданнический; так хроника и задумывалась, это был пушкинский бизнес-проект: *«Пугачёв пропущен, и я печатаю его на счет государя (…) Государь позволил мне печатать Пугачёва: мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными)».*

Тогда как в «Капитанской дочке» уровень авторской симпатии к Пугачеву заметно превышает фольклорную снисходительность к серому волку, которого не надо губить, поскольку он сумеет когда-нибудь сделаться полезным.

Известны на сей счет эмоциональные заметки Марины Цветаевой; Сергей Довлатов бросает реплику о том, что изобразить в пушкинские времена Пугачева сочувственно — все равно что сегодня восславить Берию… (Сергей Донатович не дожил, но мы-то знаем, что ныне — это практически мейнстрим). Сравнение мятежного казака с эффективным госчиновником кажется неуклюжим, но стоит вспомнить хрущевские разоблачения Берии, где настойчиво звучал пропущенный через тогдашний официоз мотив самозванчества.

Отгадка — в самой творческой личности Пушкина, который мог позволить себе быть державником и революционером одновременно. (Бывали ли к нему претензии относительно строк *«Самовластительный злодей!/ Тебя, твой трон я ненавижу,/ Твою погибель, смерть детей/ С жестокой радостию вижу»,* подобные тем, которые сто лет как преследуют Маяковского за *«я люблю смотреть, как умирают дети»*?). Александр Сергеевич мыслил не только художественными образами и буквами русского алфавита, но категориями исторической метафизики.

В современном исследовании пугачевщины «Вилы» замечательного писателя Алексея Иванова развернуты многие идеи, Пушкиным едва намеченные. И результат впечатляющий. (Я как-то написал, что «Вилы» Иванова — лучшая книга на данную тему после «Капитанской дочки», имея в виду именно концептуальную преемственность. Мне тут же напомнили о Есенине. Я ответил, что Сергей Александрович встанет в этот ряд, если считать, что «Пугачев» Есенина — о пугачевщине. А он не о пугачевщине).

Ну, например. Видимо, любая бунташная ситуация не просто вскрывает пассионарность, до времени скрытые возмож-

ности личности, но и заставляет крупную фигуру действовать вопреки прежней жизненной рутине, базовому опыту, навязанному социальному стандарту.

Иван Белобородов, натуральным образом откосивший от службы в царской армии, становится самым успешным из пугачевских военачальников.

Преступник и каторжник Афанасий Соколов (Хлопуша) предстает носителем добра, справедливости и персонажем ослепительного благородства. (Любопытно, что в знаменитой сцене с «господами енералами» Пушкин состарил Белобородова и значительно омолодил Хлопушу. Последний ему явно нравился больше).

Башкирский сепаратист Кинзя Арсланов до конца остается верен «русскому царю» Пугачеву, когда уже и казаки Емельяна продали.

Или к определению русского бунта как «бессмысленного». Алексей говорит о том, что устройство власти по принципу казачьего круга не приживалось среди определенных групп — горнозаводских рабочих Урала и крестьян Поволжья; идентичности этих сообществ всячески сопротивлялись прямой демократии. И это легко объяснить. Сообщества, где прямая демократия успешно функционировала — казаки, цыганские таборы, воровские общины, вайнахские тейпы (отсутствие государственных институтов при наличии судов по «понятиям», адатам и пр.), — объединены, помимо прочего, практикой криминального бизнеса. Будь то кражи, набеги, походы «за зипунами» и т. д. А вот законопослушным — централизованно законопослушным гражданам — прямая демократия, выходит, и не нужна. Отсюда кажущийся многим странным пушкинский эпитет.

И — параллельно — историософское наблюдение. Российская история завораживает самим явлением самозванства, точнее — его беспрецедентной масштабностью. (Только в Англии феномен приобрел схожие параметры). Но вот что любопытно — самозванцы, реально способные претендовать на престол или даже занять его (случай Дмитрия I), проявляются только в противостоянии с прямыми узурпаторами. С Годуновым, Василием Шуйским (случай Тушинского Вора), Екатериной II. В другие времена, даже при наличии государственной шатости и династических проблем, сколько-нибудь значительных самозванцев не отмечено, видимо, по причине сохранения хотя бы частичной легитимности верховной власти в общественном мнении. Заметим также, что Дмитрий I и Пугачев — верхушка айсберга: известно, сколько «царевичей» (не обязательно принявших имя Дмитрия) зафиксировано в Смутное время, — десятки; воскресших Петров III случилось даже больше, а оживший призрак убиенного императора широко шагнул и за границы Российской империи.

Пушкин прямо обозначает конфликт «самозванец vs узурпатор» в «Борисе Годунове» и, по понятным причинам, кодирует его в «Капитанской дочке». Но шифр легко раскрывается — императрица Екатерина поначалу предстает перед Машей Мироновой, приехавшей просить за жениха, в образе некоей придворной дамы, и эта маска зеркальна и сопричастна личине мертвого государя, водруженной на себя Емельяном Пугачевым.

Олимпийские виды

Популярно мнение о том, что Пушкин для России был Возрождением и Просвещением в одном лице. В интересующей нас ипостаси поэта, истину о царях с улыбкой говорящего,

Александр Сергеевич заменил русским не столько Вальтера Скотта, сколько Александра Дюма.

За что мы ценим (не особо для себя формулируя) автора «Трех мушкетёров» и пр., и пр.? Наверное, прежде всего за искусство быстрой, легкой, без нажима, в нескольких штрихах психологической характеристики монарха (лидера, вождя) — реального или потенциального. За столь же ненавязчивый коллективный портрет окружения. На фоне страстей, пороков, роскошеств и непрочности дворов.

Пушкин решил вопрос импортозамещения со свойственным ему изяществом и навыком экономии ресурсов всего двумя эпиграммами. Первая:

Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла
И умерла, садясь на судно.

И вторая:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Интересно, что весь антисталинизм классических уже произведений и авторов советской/антисоветской литературы — «В круге первом» Александра Солженицына, «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова, «Московской саги» Василия Аксёнова — вышли из этих, весьма беглых, пушкинских зарисовок. Даром, что бабушка с внуком на фоне страшного

XX века выглядели сущими мумий троллями. У Александра Исаевича мини-роман-фельетон в романе (о жизни и практике тирана) раздвигает вширь, но не вглубь строчки: «Властитель слабый и лукавый/ Нечаянно пригретый славой». Рыбаков добавляет: «Над нами царствовал тогда», и как ему, видимо, казалось, екклезиастовой значительности с этой констатацией.

(Не одному ему — покойный критик Бенедикт Сарнов, автор книги «Феномен Солженицына», ставил рыбаковский портрет вождя много выше солженицынского. Ключевой аргумент был явно антихудожественного и даже — ужас! — просталинского свойства: дескать, Солж слишком много придумывает про вождя и за вождя, тогда как Рыбаков похвально документален. Тут интересно, что сборники документов «На приеме у Сталина», на момент написания «Круга», естественно, романисту неведомые, фиксируют прозорливость Солженицына в части ежемесячных вызовов главы МГБ Виктора Абакумова к вождю. Свои замеры Сарнов также иллюстрировал обширным цитированием того и другого портретиста, и эффект дежа-вю несколько рассеивается читательской иронией по адресу критика).

Между тем ценность этих книг в другом, и она соприродна — у Рыбакова в первом романе цикла ярки и любопытны очерки московской жизни середины 30-х — с ресторанами, девушками, иностранцами, андеграудной коммерцией, богемой и пр. Аналогично любопытны у Солженицына сцены быта элиты и народа в конце 40-х, в апофеозе империи: скажем, по-своему уникальное свидетельство о послевоенном недоверии власти к фронтовикам.

…Василий Аксенов усадил Сталина на судно, точнее, клизмировал, и всё это страшно подробно описано с покушения-

ми на символизм и стихии. Кроме того, Василий Павлович, вслед за Александром Исаевичем, с разной степенью игривости, намекал на «немного блудно».

Вообще, Аксенов в плане отношений с первыми лицами — фигура весьма любопытная. Хорошо известно о хрущевских погромах деятелей «левых» (по тогдашней терминологии) искусств — сначала художников в Манеже, потом — писателей в Кремле. Известно прежде всего от самих жертв погромов, которые, как правило, жили потом долгую и счастливую жизнь.

Чемпион по воспоминаниям тут — именно Василий Аксенов.

К деталям хрущевского иродова избиения литературного юношества (юношам около тридцатника) Василий Павлович возвращался, почитай, всю жизнь, оставив наиболее подробное воспоминание в закатной «Таинственной страсти». Надо сказать, вкус именно здесь изменял Аксенову чаще всего — эпизод с воздетым кулаком Хрущева он носил всю жизнь, как орден Дурака Лысого. Мне очень нравится это место из «Таинственной страсти»: как шли разгромленные лично Первым, Аксенов с Вознесенским по брусчатке Красной площади, ожидая, что немедленно будут схвачены и брошены в черные воронки, а вместо лубянского подвала и лап заплечных дел мастеров попали в ЦДЛ, где, разумеется, крепко и привычно выпили. Василий Палыч на следующий день улетел в Аргентину…

Впрочем, Аксенов мог бы претендовать на чемпионское достоинство и в другом состязании.

Вопрос на засыпку: кто из знаменитых писателей нашего времени является рекордсменом по изображению начальников страны? Количественно?

Валентин Саввич Пикуль? Драматург-ленинианец Михаил Шатров, в перестройку ушедший в бизнес? Виктор Олегович Пелевин с его версией о «семи Сталиных»?

А вот и нет. Дудки. Василий Палыч Аксенов.

Загибайте, загибайте. В наличии вся большая четверка советских вождей: Ленин («Любовь к электричеству»), Сталин («Московская сага», «Москва Ква-ква»: надо сказать, что это, по сути, один роман; «Москва Ква-ква» — явно избыточный эпилог к «Саге»: завороженность либерала Аксенова позднесталинским имперским стилем требовала выхода. А может, он так избывал ностальгию).

Хрущев («Ожог», далее везде, с воздетым кулаком), Брежнев («Скажи изюм», «Бумажный пейзаж»).

Плюс крупнейшие деятели, у которых первыми лицами стать не получилось — от Троцкого и Берии в той же универсальной «Саге» до некоего прото-Ходорковского в позднем романе «Редкие земли».

Всё? Нет, не всё. В «Острове Крым» (о котором мы еще будем говорить) есть яркая сцена заседания Политбюро, где угадываются Суслов, Андропов и молодой тогда Горбачев.

Особняком стоит в этом ряду Фазиль Искандер — крупнейший из русских писателей второй половины XX века, недавно, увы, покинувший этот мир.

В многочисленных некрологах Искандера предсказуемо и справедливо выводили из Фолкнера (реже Маркеса), столь же законна параллель Искандер-Распутин.

А я когда-то говорил Фазилю Абдуловичу (это «с Пушкиным на дружеской ноге» объясняется просто — молодым журналистом пришел брать интервью. Естественно, магистральной целью визита было не оно, а плохая машинопись, тонкой стопочкой, на скрепке, рассказики. Показать (навязать) мэтру. Он чуть скривился — отношу это на счет качества печати, а не текстов, впрочем, второе соответствовало первому. Но взял). Так вот, я сказал, что ближе всех ему в литературе младший его современник Сергей Довлатов. Он никак не реагировал и не знаю, читал ли тогда СД, но потом неоднократно и крайне приязненно Довлатова упоминал.

Сходное у них — помимо таких глобальных штук, как общее приятие жизни и отрицание смерти, — обыденность надрыва и то, что Искандер называл «энергией стыда». Фазиль Абдулович мог написать «Заповедник»; «Созвездие Козлотура» предвосхищает довлатовский «Компромисс» (не отсюда ли отношение Довлатова к Искандеру — почтительное, но противоречивое и ревнивое?), а Сергей Донатович — некоторые главы «Сандро из Чегема», где этот надрыв и стыд наличествуют в большей, чем обычно, концентрации. Вся поправка — на географию.

Наиболее принципиален их антисталинизм, афористично выраженный у Довлатова фразой *«грузин хорошим человеком быть не может»*. Это же, по сути, не мировоззрение, а эмоции этнического скорее свойства — традиционная ревность кавказских народов друг к другу, вечное их соперничество. О национальной и даже «восточной» природе отношения Искандера к Сталину подробнее см. эссе Константина Крылова «Вместо некролога»: *«Диссидентом в сколько-нибудь серьёзном смысле он никогда не был — поскольку, как и всякий*

нацменский интеллигент, знал, когда и чем кончится советский цирк (…). Обладая таким знанием, никакого желания диссидентствовать не возникает — разве что для блезиру. Фазиль Абдулович, однако, понимал, что блезир нужен, и к тому же имел зуб на грузин. Первое плюс второе определило его оппозиционную тему — глумление над сталинизмом».

И вот тут мы подходим к самому главному — именно у Искандера-Довлатова эта этническая эмоция демонстрирует резкое сокращение дистанции между властью и художником — может, не до аввакумовой сельской улицы, но до вполне тесного приграничного соседства. (Ни у одного из перечисленных выше (анти)сталинских портретистов сокращения дистанции не случилось ни на йоту).

Так строителю многонациональной империи аукнулся очередной виток исторической диалектики. А возвращаясь к пушкинским эпиграммам, отметим очередной парадокс — Александр Сергеевич, сочинив их, задним числом (адресаты ко времени написания скончались) и в сугубо индивидуальном порядке, для себя, эту дистанцию сокращал. Упомянутые нами писатели Солженицын, Рыбаков, Аксенов, следуя букве пушкинских эпиграмм, этого духовного рывка, «побега на рывок», попросту не заметили и расстояние только увеличивали.

Добавлю, что все перечисленные выше произведения «сталинского цикла» экранизированы в сериальном формате (да, из «Пиров Валтасара» Искандера вышел полный метр — сама вещь небольшая). И все, в сталинском ключе, да и во множестве других, сделаны слабо. Кино — само по себе карикатура, а делать карикатуру на карикатуру — вообще важнейшее из искусств цирк.

Пастернак и Мандельштам: космонавты Сталина

Имеет смысл обратиться к другому, противоположному, направлению сталинианы, призванному не сократить, но максимально увеличить дистанцию — такова была сверхзадача творцов, решенная в модернизированной одической традиции.

Отметим, что здесь присутствует изначально высокий уровень, заданный «Мастерами», поэтами, чье величие бесспорно.

Борис Пастернак: «Мне по душе строптивый норов» (1935), где сразу заявлен космизм и масштаб, превышающий уже и одический: *«Живет не человек, — деянье:/ поступок ростом с шар земной/ Судьба дала ему уделом предшествующего пробел. / Он — то, что снилось самым смелым, но до него никто не смел…» И далее: «В собранье сказок и реликвий,/ Кремлем плывущих над Москвой,/ Столетья так к нему привыкли,/ Как к бою башни часовой».*

Отметим, что с этого стихотворения литература «культа», собственно, и началась; стартапер Борис Леонидович задает вектор — непрерывную вертикаль, в противовес, скажем, слишком горизонтальному «самому человечному».

Вместе с тем Пастернак прямо озабочен ситуацией «поэт и царь», как взаимодействием/коммуникацией, так и сохранением дистанции: *«И этим гением поступка/ Так поглощен другой, поэт,/ Что тяжелеет, словно губка,/ Любою из его примет./ Как в этой двухголосной фуге/ Он сам ни бесконечно мал,/ Он верит в знанье друг о друге/ Предельно крайних двух начал».*

В этом космосе всё зафиксировано точно, как на токарном станке: «бесконечно мал», «предельно крайних»…

В случае Осипа Мандельштама оценки вождя не столь принципиальны, важен именно масштаб, хотя расстояние между полюсами «Мы живем, под собою не чуя страны» (конец 33-го; эпиграмма, отметим, парадоксально сделана по канонам не низкого, но высокого жанра, как и написанная двумя годами раньше эпиграмма Павла Васильева «Ныне, о муза, воспой Джугашвили, сукина сына…») до «Оды» (начало 37-го) — «Когда б я уголь взял для высшей похвалы» — преодоленное за три года с небольшим, — чрезвычайно впечатляет. Ее, пожалуй, имеет смысл процитировать полностью:

Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной, —
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок
И поднял вновь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголёк, —
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Я б несколько гремучих линий взял,
Всё моложавое его тысячелетье,
И мужество улыбкою связал
И развязал в ненапряжённом свете,
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь

К которому, к нему, — вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его — не Сталин — Джугашвили!

Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором,
Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит.
Не я и не другой — ему народ родной —
Народ-Гомер хвалу утроит.
Художник, береги и охраняй бойца:
Лес человечества за ним поёт, густея,
Само грядущее — дружина мудреца
И слушает его всё чаще, всё смелее.

Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов. Должник сильнее иска,
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко,
И я хотел бы стрелкой указать
На твёрдость рта — отца речей упрямых,
Лепное, сложное, крутое веко — знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь — откровенность, весь — признанья медь,
И зоркий слух, не терпящий сурдинки,
На всех готовых жить и умереть
Бегут, играя, хмурые морщинки.

Сжимая уголёк, в котором всё сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною — ловить лишь сходства ось —
Я уголь искрошу, ища его обличья.
Я у него учусь, не для себя учась.
Я у него учусь — к себе не знать пощады,
Несчастья скроют ли большого плана часть,
Я разыщу его в случайностях их чада…
Пусть недостоин я ещё иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,
Он всё мне чудится в шинели, в картузе,
На чудной площади с счастливыми глазами.

Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера —
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
И каждое гумно и каждая копна
Сильна, убориста, умна — добро живое —
Чудо народное! Да будет жизнь крупна.
Ворочается счастье стержневое.

И шестикратно я в сознаньи берегу,
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,
Его огромный путь — через тайгу
И ленинский октябрь — до выполненной клятвы.
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

Иосиф Бродский, щедрый как на хвалу, так и на хулу, это стихотворение осыпал комплиментами совершенно беспрецедентными. Сопоставимо Бродский высказывался, скажем, о «Запустении» Баратынского, но там был подробный анализ с цитированием, а в случае «Оды» — просто поток хвалебных эпитетов и метафизической конспирологии.

Почему так? У меня сложилась вполне несерьезная версия — Бродский не столько пытался утвердить величие Мандельштама (вполне очевидное) или подразнить либеральных гусей, назвав великим стихотворение, посвященное тирану (совершенно искренне посвященное).

Бродский объяснял Сталину, кто это вообще был — Мандельштам. Апеллировал к «любой из его примет», «двухголосой фуге» и «знанью друг о друге». Не договаривал за Пастернака, которого пытал относительно Осипа Эмильевича вождь: «Но ведь он мастер, мастер?!», но настойчиво сватал себя в собеседники по заданной теме.

И еще одна реплика Иосифа Александровича: *«После «Оды», будь я Сталин, я бы Мандельштама тотчас зарезал. Потому что я бы понял, что он в меня вошел, вселился».*

Случай Булгакова: архитектор идеологических кампаний

Вот с этого «вошел, вселился» хочется начать разговор о Михаиле Булгакове, чье творчество целиком двигалось энерги-

ей взаимодействия — сначала с Революцией, затем — больше, дольше и глубже — со Сталиным.

Это, собственно, аксиома, и на сей счет существует обширная литература, посвященная в том числе пьесе «Батум», истории ее запрета для сцены. Версий немало; тем более что сам Иосиф Виссарионович мотивировал собственное вето несколько туманно: *«Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине»*. Но ведь и впрямь в сталиниане, современной вождю, молодого Сталина практически нет — я имею в виду не только классические образцы, но и соцреалистический мейнстрим уровня «Слова о первом депутате» или «Клятвы».

Впрочем, то, что является аксиомой для меня, вовсе не является таковой как для широкой публики, так и для авторов обширной «булгаковианы». Поэтому — коротко и тезисно — несколько наблюдений за процессом «вошел, вселился».

В октябре 2016 года, когда пишутся эти заметки, воздвигнут памятник Иоанну Грозному в Орле, и предсказуемо бушует общественная дискуссия по этому поводу. Вот еще один позитивный вектор современной коммуникативной практики. Куча людей, не имеющих времени, возможностей, да и попросту желания работать с источниками и серьезными исследованиями, могут по социальным сетям вполне себе в недурном объеме изучить историю и личность Грозного царя.

Позитив, однако, идет в связке с негативом, беспамятством как приметой нашего времени: народ странным образом ругался как бы с чистого листа. Забыв, что Грозному царю и его эпохе посвящали произведения и размышления такие крупнейшие художники, как Михаил Лермонтов, Алексей

К. Толстой и Алексей Н. Толстой, Михаил Булгаков, Сергей Эйзенштейн, Иосиф Сталин, Леонид Гайдай… Сейчас широко обсуждается и фигурирует во многих премиальных списках любопытнейший, посвященный личности Грозного, роман Михаила Гиголашвили «Тайный год», о котором у нас еще будет возможность поговорить особо.

Факты, версии, да даже и телеги, написанные pro и contra, ярко, умно, страстно, аргументированно, — это, как говорилось в старом добром советском новоязе, «ленинский университет миллионов». Ну, в данном случае — грозненский, без географических коннотаций.

В общем, надо бы еще памятников. Предлагаю не раз упомянутого здесь Тишайшего царя Алексея Михайловича. Бунташный его век завораживает.

(Кстати, надо полагать, именно второй Романов — основатель школы черного пиара в отношении Грозного. Совместно с патриархом Никоном он, Алексей Михайлович, осуществил перенесение в Москву мощей митрополита Филиппа (Колычева), замученного при Иоанне Васильевиче и с деятельным участием последнего. С этого мероприятия историософское направление «анти-Грозный», видимо, и стартовало. Любопытно, что Алексей Михайлович, винясь за тиранство Грозного, именовал его «прадедом». Никаким правнуком Иоанну он, конечно, не был, так вылезал всё тот же характерный для ранних Романовых комплекс узурпаторства и худородства).

Так вот, множество авторов по-своему справедливо объявили прославление Грозного приметой и возрождением сталинизма. Однако никто не вспомнил, что именно Михаил Булгаков стал идеологом тенденции в 30-е. Что стран-

но — со свидетельством в пользу данного тезиса практически каждый гражданин страны встречается, как минимум, ежегодно, пересматривая в рождественские каникулы по ТВ кинокомедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», снятую по пьесе Булгакова «Иван Васильевич».

Знаменитый советский комедиограф, этим фильмом 1973 года продолживший собственный период экранизаций юмористической классики, насытил фильм пестрым шестидесятническим скарбом, перенес действие из коммуналки в многоквартирный дом. Однако ключевые булгаковские идеи парадоксально не пострадали, но были, напротив, усилены. Скажем, не особенно латентный антисемитизм Михаила Афанасьевича — в образе пройдошистого Шпака.

Пьеса у Булгакова явно не из лучших («Блаженство», из которого ИВ вырос, куда значительнее), писалась для Театра Сатиры и заработка, но характерно, что для 1936 года звучала не только в унисон сталинскому русско-имперскому развороту, но и существенно опережала его. Пафос разворота был задан письмом вождя членам Политбюро ЦК ВКП(б) «О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» (1934). Именно после него вернулся в советский иконостас и ранее почитавшийся большевиками Петр Первый, были канонизированы в качестве великих полководцев Александр Невский, Суворов и Кутузов, подверглись торжественной порке Таиров и Демьян Бедный за оперу «Богатыри» с грубой сатирой на Крещение Руси, частично возвращены офицерские звания, реабилитировано казачество (правда, в фольклорном изводе) и т. д. Но отношение к Грозному оставалось амбивалентным. Когда уже через эпоху, в 1946 году, Сталин говорил: *«У Эйзенштейна старое отношение к опричнине.*